

КОНСЕРВАТИВНАЯ ГЕОПОЛИТИКА И ПРОГРЕССИВНАЯ ГЛОБАЛИСТИКА

ИОНИН Леонид Григорьевич - доктор философских наук, зав. отделом Института социологии РАН.

Концептуальные основы геополитического и так называемого геостратегического мышления не принимают во внимание некоторых существенных измерений идеологий, борющихся ныне на всемирной арене, а потому зачастую не улавливают реальный смысл нынешнего глобального развития. Это относится равным образом как к западным (концепция С. Хантингтона), так и к российским (разные варианты "евразийского" подхода) геополитическим доктринам. И в тех, и в других упор делается на столкновении цивилизаций, то есть на столкновении более или менее равноправных и *равнопотенциальных* моделей мира. Наша цель состоит в том, чтобы показать, что на самом деле речь идет о столкновении, с одной стороны, партикуляристской геополитической идеологии ("евразийство"), и - с другой, универсального глобалистского проекта.

Начать придется издалека - с типичного для консерватизма, с одной стороны, и для либерализма - с другой, способа отношения к чувственной конкретной реальности пространства. Эти два типа выпукло продемонстрированы в знаменитом эссе К. Манхайма "Консервативная мысль". Манхайм отправляется от понятия собственности, ибо "специфическая природа консервативной конкретности, нигде не проявляется так явно, как в понятии собственности, отличающемся от обычного современного буржуазного понимания этого явления" [1]. Есть прежде всего два типа собственности, предполагающих разные формы связи собственности с ее хозяином. *Традиционный* тип, о котором теоретики консерватизма, прежде всего Й. Мёзер, говорили, что это "настоящая собственность", предполагал наличие "живой", взаимной связи между собственностью и ее хозяином [2]. Ему противостоит современный *абстрактный* тип, где собственность не связана с ее хозяином никак иначе, кроме как условиями договора. В первом случае собственность и ее владелец представляют собой как бы члены одного тела, и разорвать их отношения полностью по существу невозможно. Манхайм вслед за Мёзером показывает, что собственность в настоящем смысле давала ее хозяину определенные привилегии, например, право голоса в разных государственных собраниях (в случае имущественного ценза), право охоты, право включения в число присяжных. Она была связана с личным достоинством и ее в определенном смысле нельзя было утратить. Например, во Франции и в Германии, когда собственник земли менялся, право охоты к нему не переходило, оно оставалось за прежним владельцем, что свидетельствовало о том, что новый хозяин - "ненастоящий". То же было справедливо и в обратной связи. Отношение собственности не только было неистребимо, то есть сохранялось вопреки юридическим актам о смене собственника, но оно и не могло возникнуть "произвольно", посредством юридического акта там, где до этого его не существовало. Так, поясняет Манхайм, потомственный дворянин, покупая имение у неродовитого человека, не мог перенести на него "настоящей" собственности только на том основании, что он сам принадлежит к старому дворянству.

А. Гуревич связывает такое ощущение непосредственной связанности между владением и владельцем с более ранней, "варварской" эпохой. Он напоминает, что норманны, например (то же относится и к древним германцам), весьма дорожа драгоценными металлами и стремясь их приобрести любыми способами (прежде всего,

грабежом), тем не менее, не пускали их в товарный оборот, не использовали для покупки жизненно важных вещей, а прятали монеты в землю, в болото, топили в море.

Такое использование монет кажется загадочным, если не учитывать, что, согласно представлениям, бытовавшим у этих народов, "в сокровищах, которыми обладал человек, воплощались его личные качества и сосредоточивались его счастье и успех" [3]. Лишиться их означало потерять надежду на счастье и успех, а может быть и вообще погибнуть. Поэтому спрятать золото в землю не означало заложить клад в современном смысле слова, то есть спрятать деньги с целью их сохранения и сбережения в превратностях быта и военной судьбы. Их прятали не для того, чтобы потом забрать. Клад, пока он лежал в земле или на дне болота, сохранял в себе удачу хозяина и был неотчуждаем. Он был собственностью хозяина, но не только в силу факта владения, не в силу права на владение (даже если оно имелось), не в силу вовлеченности его в экономические взаимодействия, но прежде всего по причине отождествления его с личностью хозяина, или, если использовать терминологию Манхейма, по причине наличия глубоких интимных внутренних связей между собственником и собственностью. Деньги - самая текучая и непостоянная из форм собственности - таким образом лишались своей функции всеобщего посредника и "субстанциализировались", обретали личностную субстанцию.

То же относилось и к земле. Право собственности на землю существовало, существовал и "коммерческий" земельный оборот. Но в особых случаях определенные участки земли также наделялись личностными характеристиками и изымались из коммерческого оборота. Существовал, как известно, обычай "вергельда", то есть уплаты за убийство или изувечие человека или другие тяжкие преступления. Вергельд платили как деньгами, так и имуществом. Но не всякое имущество шло в уплату вергельда. Так, если вергельд платился землей, то, например, у норвежцев принимался в уплату только "одадь" - наследственная земля, которая находилась во владении семьи в течение многих поколений и практически являлась неотчуждаемым имуществом. Просто приобретенную, "купленную" землю нельзя было отдавать в счет вергельда. Точно так же земля, полученная в счет вергельда, не могла быть продана родственникам убитого. Это не было просто юридической нормой. Определенные земельные наделы имели символическую функцию. Определенная часть земля "субстанциализировалась", отождествлялась с семьей владельца или с его собственной личностью.

Позже соответствующие символические опосредствования оказались перенесенными на отношения феодальной, или, как ее называл Мёзер, "настоящей" собственности. Это была далеко не частная собственность в современном буржуазном смысле. "Если римское право, - пишет А. Гуревич, - определяло частную собственность как право свободного владения и распоряжения имуществом, право неограниченного употребления его вплоть до злоупотребления (*ius utendi et abutendi*), то право феодальной собственности было в принципе иным" [4]. Во-первых, земля не являлась объектом свободного отчуждения. Владение землей наряду с правами, например, правом получения дохода с земли (впрочем, не полного), налагало множество обязанностей, в частности, по ее хозяйственному использованию. Во-вторых, владелец земли вообще считался не собственником (*possessor*), а "держателем" (*tenant*), поскольку земля вручалась ему господином на определенных условиях, выполнение которых было обязательным. В-третьих, земельное владение всегда было непосредственно связано с личностью владельца. "Если буржуазная собственность противостоит непосредственному производителю - фабричному рабочему, земельному арендатору - как безличное богатство, то феодальная земельная собственность всегда персонифицирована: она противостоит крестьянину в облике сеньора и неотделима от его власти, судебных полномочий и традиционных связей. Буржуазная собственность может быть совершенно анонимна, между тем как феодальная собственность всегда имеет свое имя и дает его господину; земля для него не только объект обладания, но и родина со своею историей, местными обычаями, верованиями, предрассудками" [5]. Так что не случайно

дворянские фамилии в европейских странах имели то же самое имя, что и их земля (регион, деревня, местность, имение).

Консервативное понимание собственности, возродившееся в политических баталиях XIX - начала XX века, было попыткой артикуляции этого "дотеоретического, неартикулированного опыта", воплощающего в себе прямые и непосредственные связи между личностью и ее собственностью. Манхайм ссылается на известного консервативного писателя А. Мюллера, который считал имения продолжением человеческого тела и описывал феодализм как амальгаму человека и вещи. Мюллер полагал, что в исчезновении этой связи виновато римское право и называл римское право "французской революцией римлян" [6].

Таким образом, возникшая уже в Новое время дилемма "быть или иметь" в традиционном обществе и в традиционном сознании вовсе не выглядела дилеммой, не предполагала необходимости выбора: "быть" и "иметь" в значительной степени обозначали одно и то же. Бытие и "имение", если и не совпадали, то находились в отношениях неразрывной взаимозависимости.

Разрыв между бытием и именем обозначался по мере развития денежной экономики. Деньги, выступая в качестве универсального выражения любой ценности, тем самым релятивизировали все ценности. Единство бытия и имени обуславливали существование качественно различных жизненных стилей или способов жизни, а также и качественно различных личностей, что на протяжении всей истории являлось предпосылкой всех жестких систем социальной иерархии - от кастовой до сословной. В этом смысле использование денег варварами в качестве кладов, о чем упоминалось выше, было глубоко консервативным актом. Деньги использовались здесь вопреки свойственной им релятивизирующей функции как способ консервации, сохранения личностной уникальности их владельцев. Парадоксальным образом для этого они должны были быть изъяты из обращения, то есть лишены их экономической роли.

Позднейшая "абстрактная" собственность, которую консерваторы противопоставили "настоящей" собственности, родилась именно из денег, ставших всеобщими посредниками. Деньги разорвали естественные связи между вещами, так же, как и естественные, "настоящие" связи между вещами и личностями. "Владение" оторвалось от "бытия". Этот факт имел многообразные последствия, как социальные, так и этические. Разрушились казавшиеся прежде естественными социальные иерархии (хотя на их место пришли новые, они не выглядят уже естественными, коренящимися в самой природе вещей), возросла степень человеческой свободы (хотя это в значительной мере "негативная" свобода, понимаемая как свобода от вещей, от обязанностей и т.д.), изменилась природа морального долженствования. Отношения собственности утратили прежнюю конкретность и полноту эмоциональной связанности вещи и владельца и абстрагировались в форме юридических норм. Вещи обрели способность без труда менять владельцев, расставание вещи и владельца уже не означает ущерба для его, владельца личности, если потеря возмещена деньгами [7].

Довольно неожиданным может показаться, что отношение марксизма к собственности в значительной мере воспроизводит консервативный подход. "Коммунистический манифест", например, весь целиком представляет собой критику абстрактного характера межчеловеческих отношений при капитализме. Эта абстрактность в марксистской мысли представляется через понятие отчуждения. Отчуждение рабочего от продукта его труда есть, по сути дела, отчуждение вещи от владельца. Средневековый ремесленник вкладывал в вещь самого себя, и произведенная им вещь была, по сути дела, воплощением его личностных качеств, по Гегелю, "проекцией его воли". В капиталистическом производстве эта зависимость исчезает. Виной тому, как представляется, не только собственность на средства производства: само массовое, фабричное производство, где с конвейера сходят одинаковые вещи, а работники взаимозаменяемы, также становится одним из источников этого отчуждения. Другим источником является посредующая роль денег, выступающих для рабочего эквивалентом затраченных сил и умений. Так или иначе, отчуждение налицо. Критика в

марксизме отчуждения вещи и владения, выливающаяся в критику капиталистического общественного устройства вообще, делает эту критику *консервативной* критикой.

Если же проследить новейшее развитие представлений о собственности, характерных для левых политических движений, в частности в России, особенно представлений о земельной собственности, то в них звучат глубоко консервативные мотивы. Во-первых, это представления об ограниченности собственности на землю и о связи этой собственности с массой обязанностей собственника. Во-вторых, это вообще ограничение права собственности на землю и практическое сведение роли собственника (*possessor*) к роли арендатора, держателя (*tenant*), когда действительным собственником является государство, выступающее в роли "сеньора". В-третьих, ограничение коммерческого оборота земельной собственности. В-четвертых, установление теснейшей связи между земельной собственностью и личностью собственника, воплощающееся в лозунге "Землю тем, кто ее обрабатывает!". Только тот, кто непосредственно работает на земле, то есть вкладывает в нее, овещает в ней собственную личность, может быть владельцем этой земли. Владение должно в полном смысле слова стать "амальгамой" человека и вещи, в данном случае земли.

Противоположный, либеральный проект предполагает полное снятие всех ограничений на право собственности на землю. Земля может неограниченно продаваться, покупаться, передаваться в аренду, подлежать любому употреблению вплоть до злоупотребления. Она становится таким же абстрактным товаром, как и любой другой товар. Все связанные с ней личностные, семейные, исторические и прочие символические ассоциации могут включаться в ее стоимость (то есть получать то же самое абстрактное денежное выражение), а могут быть отброшены как нерелевантные. В любом случае земля становится отчужденным объектом.

Два типа отношения к земле как собственности отражается и в отношении "либерала" и "консерватора" к земле как территории. "Земля - это настоящий фундамент, на который опирается и на котором развивается государство, так что только земля может создать историю" [8]. Не человеческие индивидуумы являются творцами истории, даже не народ как совокупность индивидуумов (народные массы в марксистском понимании), а земля как место событий, место истории.

Манхейм цитирует Й. Мозера, писавшего, что "...история Германии приняла бы совсем другой оборот, если бы мы проследили все перемены судьбы имений как подлинных составных частей нации, признав их телом нации, а тех, кто в них жил, хорошими или плохими случайностями, которые могут приключиться с телом" [9]. То же самое, наверное, можно сказать и об истории России. Рассуждая о *такой* истории, можно было бы смело говорить, что пьеса Чехова "Вишневый сад" - пьеса не столько о людях, сколько о вишневом саде - об имении, которому грозит уничтожение, не столько физическое уничтожение, сколько утрата личностной определенности, благодаря чему утрачивается и лицо исторического индивидуума — российской нации. Субкультура имения, дворянской усадьбы в течение почти века была одной из основных тем русской литературы: Лесков, Чехов, Набоков ("Другие берега") и др. внесли неопределимый вклад в эту "земную" историю России — вклад, который был слабо усвоен историками-профессионалами, что и понятно, поскольку в классово ориентированной марксистской истории не было места органическим целостностям.

Отношение консерватизма к земле расширяется до специфического отношения к пространству вообще. Как точно подмечает Манхейм, стремление к пространственному упорядочению событий в противоположность временному их упорядочению характерно для консервативного видения истории в противоположность демократическому либеральному видению. А. Мюллер даже предложил термин "сопространственность" вместо термина "современность", имевшего в то время (да, впрочем, и сейчас) ярко выраженную демократическую окраску.

Связь демократии и времени, показывает Манхейм, заложена в самой сути демократической процедуры. Общественное мнение, то есть руссоистская "общая во-

ля", не существует вне момента ее проявления, будь то в голосовании, в аккламациях, или в данных социологических опросов. Динамику его можно проследить, только добавляя друг к другу временные срезы. Время здесь атомизировано, так же, впрочем, как и социальная или национальная общность. И то и другое состоит из атомов — изолированных моментов и изолированных индивидуумов. Общественное мнение не имеет своей субстанции, так же, как и общность, мнением которой оно является. Оно может бесконечно меняться во времени, складываясь как сумма мнений составляющих общество изолированных индивидов.

С консервативной точки зрения, "народный дух", менталитет нации субстанционален и сохраняет самождественность во времени. Это означает, что время не является существенной детерминантой национальной истории. Но ею является земля, то есть пространство, на котором реализует себя нация. Отсюда — противопоставление "сопространственности" и "современности". Тот же Мюллер, отвечая на вопрос "что есть нация?" отказывался считать нацией совокупность человеческих индивидуумов, населяющих в данный момент часть земной территории, именуемую, скажем, Францией. Нация - это нечто гораздо большее, это "хрупкое сообщество, долгая чередя прошедших, настоящих и будущих поколений, проявляющееся в общем языке, обычаях и законах, в переплетении разнообразных институтов использования земли..., в старых фамилиях, и в конечном счете в одной бессмертной семье... государя" [10]. Таким образом нация оказывается не временным и достаточно случайным сосредоточением индивидуумов на определенном пространстве. Народ и его земля - это, в конечном счете, две стороны глубокого, фундаментального единства, разорвать которое нельзя, не уничтожив нацию, как таковую.

Не последнюю очередь в этом определении нации занимает семья, понимаемая в связи с землей, с имением, с усадьбой. Территория страны - это "имение" семьи государя; отсюда идет консервативное понятие о суверенитете. Государь поэтому — более, чем просто "символ" государственного единства. Здесь более глубокая связь. Антифеодальные революции, как французская, так и русская, не случайно знаменовались уничтожением королевской (соответственно, царской) семьи. Демократическое истолкование этого факта гласит, что, например, большевики стремились уничтожить "символ", "знамя", под которым могли бы собираться контрреволюционные силы. На самом деле для людей, чувствующих и мыслящих консервативно, уничтожение царской семьи не *символизировало* гибель режима, а было *равносильно* уничтожению государства как такового. Именно после уничтожения государя начался стремительный распад империи, которая затем, уже под Советами, восстанавливалась как федеративное государство (мы оставляем в стороне вопрос об истинности этого федерализма). То же самое происходило и во Франции: федерализация стала как бы непосредственной реакцией на уничтожение королевской семьи, а восстановление унитарного государства стало прямым следствием Реставрации. Не случайно поэтому Э. Берк в своих "Размышлениях о революции во Франции" ожесточенно протестовал против федерализации Франции, то есть предоставления самостоятельности французским провинциям. И не случайно Гитлер - в определенном смысле образец консервативно чувствующего деятеля, для которого земля и кровь (раса) играли первостепенную роль, - в последние месяцы своей жизни ощущал потерю германских территорий, захватываемых союзниками, как утрату членов собственного тела.

Либеральное мировоззрение и мировосприятие начисто утрачивает эту коренную для консерватизма интуицию связи земли и семьи, земли и народа, или, можно сказать так, интуицию телесности нации. Земля, становящаяся предметом коммерческого договора, равнодушна по отношению к своему обладателю, так же, впрочем, как и к своему обитателю; так же и для обладателя и обитателя она представляет собой абстракцию: это либо голое средство для достижения вне ее лежащих целей (хозяйственных, рекреационных), либо абстрактная среда обитания, характеризующаяся большими или меньшими удобствами.

В левом мировоззрении и в левой политике отношение к земле было двойственным. Маркс и Энгельс занимали в этом отношении отчетливо антиконсервативную позицию, справедливо видя в сохранении традиционных земельных отношений самую сильную преграду на пути буржуазных преобразований, которые только и могли способствовать превращению пролетариата из "класса в себе" в "класс для себя", приближая тем самым пролетарскую революцию. Прусское юнкерство, аристократия вообще, изначально связанная с землей, считалась едва ли не главным врагом коммунистического движения. Даже буржуазия была более дружественной, ибо она *volens nolens* воспитывала пролетариат - собственного могильщика. В то же время, с точки зрения классиков, буржуазия сохраняет националистические предрассудки, тогда как пролетариат утрачивает их окончательно. "Рабочие не имеют отечества" [11]. В этом смысле Марксов пролетариат крайне антиконсервативен и представляет собой самое радикальное воплощение либерально-демократического отношения к земле и нации. При всех сложностях и разногласиях в решении так называемого аграрного вопроса коммунистическое и социал-демократическое движение всегда руководствовалось почти исключительно экономическими и политическими соображениями, практически уравнивая землю с другими объектами хозяйствования.

Советские вожди, начав с тотального разрушения связи земли и нации, парадоксальным образом вернулись к земле как основе суверенитета. Но это было не искреннее и живое, "органичное", коренящееся в традиции, а скорее макиавеллистское, манипуляторское отношение к земле, нации, суверенитету. С одной стороны, отчетливо осознавая связь земли и суверенитета, советская власть декларировала полную государственную собственность на землю. С другой стороны, она систематически разрывала все традиционные связи с землей: перекраивала административные карты, устраивала переселение народов, отрывая нации и этносы от традиционно занимаемых ими земель. Все частные суверенитеты должны были быть уничтожены или сохранены лишь по видимости. Должен был остаться один-единственный суверенитет - суверенитет Советского государства, одна-единственная семья на всей территории страны - советский народ. Но эта территория, эта земля воспринималась, особенно Сталиным, действительно как тело власти. Ни одна "пядь" ее не была чужой или лишней.

Аналогичную политику Национального собрания Э. Берк называл "геометрической политикой". Собрание полагало, писал он, что в результате "геометрической" политики любые местные идеи будут отвергнуты и люди перестанут быть, как раньше, гасконцами, пикардийцами, бретонцами, но будут только французами, с одной страной, одним центром, одним собранием. На самом деле это приведет к тому, что население отдельных районов в очень скором времени утратит чувство принадлежности к стране" [12].

Как бы дело ни развивалось во Франции, в Советском Союзе утраты "чувства принадлежности к стране" долгое время не происходило. Тому были две причины. Первая: достаточно фиктивный характер советского федерализма. Вторая, самая важная, - факт изъятия земли из коммерческого оборота и передача ее в собственность государства, что и стало основанием формирования единого "советского народа". Таким образом, в отношении советской власти к земле проявлялись элементы как консервативного, так и либерально-демократического мировоззрения.

Современные демократические преобразования направлены на ликвидацию этого элемента консерватизма: отношение к земле проходит новую стадию либерализации и рационализации. Наряду с федерализацией происходит постепенное сжигание России до территорий, имеющих очевидную хозяйственную функцию. Ценность земли как таковой и ее связь с нацией либералам непонятна. Неоднократно высказывалось мнение о том, что фактически Россия есть европейская ее часть плюс узкая полоска земли вдоль Транссибирской железной дороги, то есть российская земля редуцируется к ее экономической функции. Было принято и одно время действовало (1993-1994 гг.)

решение о вахтовом методе освоения Севера, в результате чего пустыли северные города и разрушалась существующая с советских времен инфраструктура. Это было крайне опасное решение. Неумение ценить землю как таковую ослабляет государственный суверенитет.

Теперь - о земле как территории в контексте международных отношений, то есть о геополитической проблематике в консервативном и, соответственно, мировоззрениях.

В одной из недавно вышедших работ геополитика определяется вполне традиционно, как "использование государствами пространственных факторов при определении и достижении политических целей" [13]. С этой точки зрения, геополитика — часть внешней политики государств, могущая занимать в ней большее или меньшее место в зависимости от конкретных обстоятельств и ситуаций. В контексте консервативного мышления геополитика выглядит иначе: она - ядро внешней политики, что определяется общими консервативными представлениями о роли земли и территории.

Само рождение геополитики глубочайшим образом связано с идеями *органической* связи территории и государства. Государство считается организмом, политика - борьбой за жизненное пространство организма. Фр. Ратцель в своей "Политической географии" (1897) рассматривал государство как продукт биологической эволюции. К. Хаусхофер стоял на позициях крайнего национализма и биологизма. Субъект геополитики, то есть государство, полагало большинство основателей этой дисциплины, - не продукт общественного договора, а органически сформировавшееся единство. Это можно назвать органической, или консервативной версией геополитики, изначально связанной с немецкой наукой и философией. Позднее сформировалась ее *прагматическая* англосаксонская версия (А. Мэхен, Г. Макиндер), где геополитический императив рассматривался в отвлечении от вопроса о природе государства. Если согласно первой из этих версий борьба за территории выглядела естественной экспансией более мощного организма, "усваивающего" иные пространства, то есть включающего их в свое (сакральное) "тело", то согласно второй - геополитическая экспансия есть расширение зон контроля, не обязательно предполагающее потерю суверенитета "подконтрольными" странами.

Как органическая версия геополитики (или, как мы увидим далее, геополитика как таковая) оказалась связана с консервативной идеологией, так прагматическая версия оказалась попыткой освоения геополитического императива в рамках либерально-демократической идеологии.

В принципе либерально-демократическое мировоззрение не предполагает существования геополитики. Оно ориентируется на абстрактного человеческого индивидуума как носителя определенных прав и свобод; государство - продукт договора абстрактных индивидуумов, и его конкретное тело (территория) имеет случайный характер. Интерес либерального государства к чужим территориям не есть собственно территориальный интерес; когда он имеется, он всегда есть средство удовлетворения других интересов: экономических (сырье) или политических (навязывание собственной модели взаимоотношений государства и граждан, не предполагающей изначальной связи с землей, с территорией). Поэтому территориальная экспансия здесь есть не собственное "профилирование" (навязывание и одновременно осознание собственной "качественности"), а, наоборот, экспансия абстракции, универсализация доселе партикулярных, качественных образований.

Поэтому такая экспансия не имеет границ. С точки зрения консерватизма, захват территорий - это утверждение "своего", которое имеет смысл только пока существует "чужое", ибо качество имеет смысл только пока существует другое качество. Потенциал универсализации, наоборот, бесконечен. Логически она завершена, когда абстрагированию подверглось все. Отсюда следует логическая связь либерально-демократической идеологии с доктриной глобализации.

Повторю: глобализация не тождественна геополитической экспансии в консерва-

тивном смысле этого понятия. Геополитический расклад предполагает наличие нескольких качественно различных центров мира, которые могут бороться между собой, защищая или "экспандируя" свою качественность. Это *многополярный* образ мира. Глобалистский расклад предполагает один центр, или, точнее, отсутствие центра как такового. Формальные суверенитеты существуют, существуют национальные правительства, национальные границы и т.п., но, по сути дела, территориальность этих суверенитетов (а также и все связанные с территориями традиции, способы правления, образы мира и т.п.) не играет никакой роли. Центр мира везде и нигде. Разумеется, это идеально-типические образы геополитического будущего, как оно предполагается в рамках консервативной и либерально-демократической идеологий.

В левой политике и в левом мировоззрении отношение к геополитике менялось по мере их развития и изменения политической ситуации. В классическом марксизме геополитике не было место. Пролетарии, как сказано в "Коммунистическом манифесте", не имеют отечества. Социалистическая революция должна была происходить в мировом масштабе и неизбежно предполагала абстрагирование от местных особенностей и качественностей, то есть по сути дела полное снятие территориального момента. В этом проявление буржуазно-демократического, прогрессистского элемента марксистской доктрины. Она была, собственно, не чем иным, как разновидностью глобалистского проекта.

Соответственно этим марксистским планам строилась политика Советского государства в первые годы после Октябрьской революции. Брестский мир является прекрасной иллюстрацией пренебрежительного отношения большевиков к территориальной определенности страны. Территорией можно было пожертвовать во имя сохранения, так сказать, будущего в настоящем, во имя сохранения перспективы мировой революции, которая должна была вспыхнуть и спасти гибнущую Советскую республику.

Манхейм подчеркивал различие консервативной и буржуазно-демократической концепций как различие пространственного и временного проектов. "Прогрессист, - писал он, - переживает настоящее как начало будущего... Консерватор переживает прошлое как нечто равное настоящему, поэтому его концепция истории скорее пространственная, чем временная, поскольку выдвигает на первый план сосуществование, а не последовательность [14]. Поэтому известный лозунг, вложенный Маяковским в уста Ленина периода Брестского мира - "Возьмем передышку похабного Бреста // Потеря - пространство, выигрыш - время" - идеально передает смысл прогрессистского абстрактного подхода к территории. Время абстрактно практически всегда, пространство же абстрактно только в контексте либерально-буржуазного и социалистического мировоззрений. Поэтому жертва *абстрактного* пространства ничего не значила при условии выигрыша времени для реализации проекта всеобщего абстрагирования.

Когда же с надеждой на скорое свершение мировой революции пришлось расстаться, отношение советской власти к территории существенно изменилось. Пришлось смириться с разнородностью мира, что привнесло элементы консерватизма и поистине трепетное отношение к собственной территории. В период войны эти элементы консерватизма усилились (вряд ли нужно объяснять, почему это произошло). В то же время качественность советского государства объяснялась не его традиционным жизненным укладом, способом правления и т.д. - оно не было традиционным государством, - а именно его претензиями на овладение будущим. Поэтому глобалистский проект не был и не мог быть отброшен, что и обусловило специфику советской экспансии как процесса *универсализации* мира.

Так же спецификой глобального подхода объясняется и отрицательное отношение советской власти к геополитике: советская идеология дистанцировалась от геополитики, прописывая ее по ведомству фашизма и империализма. Это казалось удивительно, поскольку геополитика вроде бы должна была способствовать планированию стратегии экспансии. Но, как следует из вышесказанного, чутье коммунистов

не обманывало. Неприязнь их к геополитике означала отрицательное отношение прогрессистского мировоззрения к консервативной в целом мыслительной установке. Собственно говоря, период так называемого мирного сосуществования был периодом соперничества не двух геополитических в традиционном консервативном смысле слова проектов, а двух глобалистских проектов, каждый из которых предполагал тотальное абстрагирование жизни народов.

Освобождение от коммунистической идеологии ознаменовало возрождение в России геополитического мышления. Поиск геополитической стратегии для России всегда состоял в поиске особого исторического пути, который соответствовал бы специфике и даже уникальности России как не страны даже, а некоего наднационального и надгосударственного - цивилизационного - образования. Проблема поиска этого особого пути стояла всегда. Первоначально она выступала в теоретическом противостоянии концепций "западников" и "славянофилов". Характерное для нынешнего времени теоретическое противостояние так называемых "атлантистов" и так называемых "евразийцев" в дискуссии по поводу цивилизационного будущего России частично воспроизводит на новом уровне это старое разделение.

При этом разделение на атлантистов и евразийцев - несимметричное разделение. С одной стороны (со стороны атлантистов), стоят готовые культурные "паттерны", которые есть в реальности, но с трудом приживаются в России, с другой - мечта об альтернативных "паттернах", которые, однако, приживутся в России без проблем.

Но есть и второе различие, на мой взгляд, более существенное. Атлантическая и евразийская модели асимметричны еще и в том отношении, что евразийская сторона представляет собой консервативную *геополитическую* модель, основывающуюся на представлении о качественной особенности "евразийской цивилизации", в то время как в облике "атлантизма" выступает *глобалистский* проект с иной природой и иным масштабом понимания мира.

Евразийская модель зиждется на идее цивилизационного своеобразия, самобытности, как бы широко эта самобытность не понималась [15]. В основе же атлантической модели, наоборот, лежит *универсалистский* лозунг единых и неотчуждаемых прав и свобод человека. Представители ее идентифицируют эту модель как самодеятельное гражданское общество, отвергающее авторитарно-патерналистские формы государственного устройства. Они утверждают, что переход на позиции атлантизма не означает, что Россия становится жертвой "культурного империализма" или утрачивает свою самобытность. В геополитическом смысле Россия-де всегда выполняла функцию "стягивания" и организации евразийского пространства, и в случае принятия атлантической модели развития она никак не освобождается от этой функции. Поэтому переход на позиции атлантизма не означает изменения функций России на евразийском пространстве, хотя и означает существенное изменение ценностных ориентиров и конкретных стратегий выполнения предполагаемых этой функцией интеграционных задач.

Во-первых, Россия должна стать для республик бывшего СССР своего рода образцом демократии. "В рамках атлантического проекта ее официальной государственной идеологией должна стать идеология прав человека. Ни в коем случае нельзя ее подменять идеологией прав народа или русскоязычного меньшинства, ибо это уже иная парадигма - парадигма "коллективной судьбы", несовместимая с гражданской парадигмой атлантизма". Во-вторых, требуется отказ от ориентации на этнические общности. Взамен этого нужна ориентация на свободного самоопределяющегося индивида - нечто напоминающее американскую идею "правильного котла"... Отказ от ориентации на этнические общности требует коренного изменения самой структуры федерации, которая должна стать не объединением национальных государств, отождествляющих себя с коренным этносом, "титულიной нацией", а объединением гражданских обществ [16].

Как бы утешительно ни звучали эти соображения, все же переход на позиции

атлантизма предполагает именно утрату самобытности. Чего стоит, например, сохранение самобытности при изменении ценностных ориентиров и стратегий их достижения! Ссылка же на то, что Россия-де сохраняет свойственную ей функцию "стягивания", не выдерживает критики. Цивилизация субстанциональна, а сведение российской специфики к функции означает лишь определение функциональной роли России в рамках универсального глобалистского проекта.

Сказанное выше не является критикой "атлантизма" и защитой российской "самобытности". Эта тема заслуживает отдельного рассмотрения. Наша цель заключается в том, чтобы показать наличие двух логик в нынешних геополитических и геостратегических спорах и несовместимость этих логик. Содержание этих размышлений можно свести к следующим тезисам.

(А) Геополитика представляет собой консервативный способ осмысления международных отношений, который зиждется на подчеркивании качественного своеобразия сосуществующих и борющихся за влияние целостностей, будь то страны и государства, региональные единства или цивилизации.

(Б) Геополитике противостоит либерально-демократический и социалистический прогрессистский глобалистский проект, идеалом которого является универсализация политических и экономических форм жизни и соответственно нивелирование локальных традиций и ценностей.

(В) В России это противостояние воплощается в борьбе "евразийского" и "атлантического" мировоззрений, воспринимаемых как некие соперничающие цивилизационные идеологии. Их, однако, нельзя ставить на одну доску, ибо это асимметричное взаимодействие: если сосуществование двух или более локальных идеологий, зиждущихся на собственных традициях и понимании собственной качественности, возможно, то глобализм не может отказаться от претензии на универсальное господство, не утрачивая собственной сущности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Манхайм К. Диагноз нашего времени. М., 1996, с. 602.
2. Moser J. Von dem echten Eigentum. Samtliche Werke. Berlin, Bd. 4.
3. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., Искусство, 1972, с. 198.
4. Там же. С. 232.
5. Там же. С. 233.
6. Манхайм К. Цит. Соч. С. 603.
7. Simmel G. Philosophie des Geldes. Berlin, 1900.
8. Манхайм К. Цит. соч. С. 609.
9. Там же.
- 10: Muller A.H. Die Elemente der Staatskunst (1809). Цит. по: Манхайм К. Диагноз нашего времени. С. 610.
11. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 444.
12. Берк Э. Размышления о революции во Франции. М., 1993. С. 54.
13. Вестник МГУ. Серия 12. Социальные и политические науки. 1994. № 6. С. 3.
14. Манхайм К. Цит. соч. С. 609.
15. Ионин Л.Г. Империя и ее тень: геополитика в российской науке // Ионин Л.Г. Свобода в СССР. СПб., 1997.
16. Подробнее см.: Панарин А.С. Между атлантизмом и евразийством // Свободная мысль. 11. 1993. С. 6. (Нужно отметить, что сам А.С. Панарин не является полным сторонником излагаемой здесь концепции).